

С. С.
ЮШКЕВИЧ

Избранное



Семен Соломонович Юшкевич

Алгебра

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=662755

С. С. Юшкевич. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

«Сон – существо таинственное и внемное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал...»

Семен Соломонович Юшкевич Алгебра

Петру Нилусу

В записной книжке, в потертом, теплом сафьяновом переплетшем было написано так: «Это было очень странное время, не то доброе, старое время, когда все в мире было на своем месте, когда каждая вещь, предмет, растение, человек знали свое место, когда верх был верхом, а низ низом и банальное, милое солнце, точно департаментский чиновник, неизменно всходило на голубом восходе, когда богачи были богаты, а бедняки безропотно бедны, когда цари были царями, а народы подданными, – нет, это время было пасынком того времени и в нем все шло вверх дном: солнце отказалось служить и пропадало где-то по целым дням, – рассказывали, что оно вступило в связь с неким высокопоставленным лицом, от которого зачало; и низ перестал быть низом. Богачи поравнялись с бедняками и потому все стали голодать. Пропали цари и верноподданные. И сгнули все золотые и серебряные пуговицы. Да, не было еще такого времени среди всех времен на земле и потому люди, кто только мог, без оглядки бежали во все стороны: бежал и брюхатый купец Савельев. Прискакал Савельев в чужой городок и забился в дыру».

Так начал свое жизнеописание купец Савельев, поставил кавычки и бросил. Беспокоила его фраза, что солнце вступило в связь с неким высокопоставленным лицом. Он-то, конечно, знал, что она означает и мог бы даже доказать, но со стороны выходило смешно и непонятно.

«Еще обвинят в потере разума, – предусмотрительно подумал он о ком-то, и стал увядать. – Нет, жизнеописания пусть пишут другие».

И гордо и горько закрылся от мира, как Господь однажды закрылся от мира, в тучу завернувшись.

И все.

* * *

Савельев, прячась от хитрого, всегда пьяного и убежденного провокатора, номерного гостинички, где он проживал, улучил минуту, прошмыгнул в людскую, дрожащими руками схватил свой драгоценный ключ и, перескакивая через три ступеньки узенькой, дрянной лестницы, понесся к себе на шестой этажик, как самая простая мышь, быстро помахивая хвостиком, который только что у него вырос. В номерке Савельев, слившись с темнотой, то есть став сам темнотой, долго к чему-то прислушивался. И улетел куда-то. Вернувшись, он зажег малую дробь свечи и тотчас от полетевших во все стороны до ужаса знакомых светлых чертей, переполнился до краев отвращением. Курносая кровать умильно под-

мигнула ему, точно своему возлюбленному, и вслед за ней стали насмешливо, приподняв картузики, кланяться хромой рыжий стол, похожий на разбойника на большой дороге и другие монстры: чемодан-медведь с зонтиком подмышкой, мальчишка-плутишка-пальтишко, без пуговиц и с котелком на воротнике, прелестно бесформенная тень неизвестно от какого предмета на стене и два коленопреклоненных кресла.

Савельев величественно ответил всем общим поклоном и приказал не воздавать себе почестей. Стихла и пауза. В мозгу овално проскакал, желтея звуками, конец знакомого марша, выскочил из уха и растаял за окном. Посыпалась зеленая пыль. Савельев подчинился ночному и стал с адской быстротой размышлять. Бегая по комнате, он то скрывался в жестяном круглом зеркале над диванчиком, то выскакивал из него какой-то взъерошенный, подбитый, с головой, словно из картона, размалеванного детской рукой: одна бровь ползла вверх, другая повернула косо вниз и выбила глаз, нос лежал на щеке вместе с шестью зубами. За ним с веселым рычанием скакали два коленопреклоненных кресла, а курносая кровать, полная вожделий, от восторга рыдая, танцевала в своем углу.

Савельев сбоку посмотрел на все это, от стыда залез в зеркало и долго не выходил оттуда.

«Вот и конец пришел, – думал Савельев, снова объявившись, и сердито замахнулся на кресло, чтобы не мешало, – а какая жизнь была, Боже мой, какая жизнь! Тремя жизнями

эту одну нельзя было бы измерить!»

И он вспомнил эту жизнь и от любви и боли закрыл глаза. Вспомнил Савельев свои утра и божественно творческое состояние души, когда с сигарой между вторым и третьим пальцем шел из спальни в столовую, вспомнил свои полдни, вечера и ночи, вспомнил жену, детей, слуг, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров, московский дом, склады с товарами, все отделения в разных городах, друзей, просителей. Ах, что это была за жизнь! А Маринка! А жеребец Ричард Третий! Всему, всему пришел конец. Была тысячу лет жизнь и умерла и не воскреснет! Жена с дочерьми не то в Сибири, не то на Кавказе, Бог их знает, а старший сын пропал с товаром в Костроме, о, Боже мой, почему в Костроме?

Савельев полез на давно поджидавшую его кровать, свернулся, как песик, калачиком и стал решать пустую алгебраическую задачу:

$$(A+B) - (A+B)$$

причем A – это он, Савельев, его жена, дети, а B – все остальное, богатство, влияние, радости, Маринка, Ричард Третий. A плюс B – это вся Савельевщина.

– Если, – стал, он рассуждать, – от A плюс B отнять A плюс B , что останется?

Приподнялись картузики. Кресло зарычало. Тени на стене насупилась. Закачало. Побежали паузки.



Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал.

Он повидался с женой, с приказчиками, отдал распоряжения на завтра, посидел с Маринкой на ковре в крошечном будуаре, горько поплакал на кладбище и пьяный, в зимнюю, морозную ночь, помчался на тройке к цыганам.

И кончилось.

Савельев поднялся, будто и не спал. Оглянулся. А за окном стояло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове. И увидев это утро, Савельев сразу понял его глубокое значение, прочно вобрал в себя смертельный страх и быстро, страшно торопясь, стал решать свою алгебру.

«Нет, ошибки не было! Если от A плюс B отнять A плюс B ?»

– Так как же? Конец?

– Конец, – до земли склонив венок, ответило зелено-синее утро.

Савельев терпко моргнул одним глазом, снял с чемодана-медведя веревку, сунул ее в карман, и, крадучись по лестнице, чтобы с провокатором не встретиться, пошел в глухой

уголочек двора.

И взяв его нежно под руку, шло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове, и оба они были как жених и невеста, идущие в церковь.

Во дворе было небо, травка под ногами, и был еще стройный белый петух с курами. Савельев, увидев петуха, беззаботного и прекрасного, как сама природа, начал, умиляться, но смертельный страх тотчас прикрыл все бледностью своей.

И умер петух в сердце Савельева.

В глухом уголке Савельев, помахав хвостиком, стал неверными руками вязать петлю. И, делая петлю, он незаметно задумался о своей жизни от ее начала до последнего конца. Мог ли он, будучи на высоте, ожидать, что жизненная линия приведет его сюда?

За что ему такое наказание? Какое преступление он совершил? Но как он ни старался вспомнить, ни преступлений, ни ошибок не было. Смерть – вещь неизбежная, и еще неизвестно, где бы ему было легче умереть, на своей ли кровати в Москве, или здесь, в глухом уголке, но ни ошибок, ни преступлений не было. Был закон жизни, и он никогда не шел против закона: не упирался, когда поднимался из низов вверх и не упирался, когда падал, радовался в меру, а плакал вволю.

Все не выходит петля. И думает теперь, терпеливо трудясь над ней, Савельев о другом, совершенно о другом. Мысль медленно пробивает себе дорогу в дремучем лесу мозга.

Там, в чаще его, словно в полусне, то появляясь, то пропадая, бродят тигры, волки и кроткие боги, – и несущий Истину сам Христос чутко дремлет, готовый возвестить свою правду.

Что увидел, что познал, что понял Савельев в мире, куда его послали? Ему сказано было славить дыхание свое, глаз свой, разостлаться и развернуться во все концы мира, а он делал другое. Ему надо было радоваться тому, что какой-то крохотной частичке мира дано было небесное счастье увидеть солнце, познать любовь, посидеть в саду, услышать птиц, поглядеть на человека, а он все время потерял, погнавшись за богатством, и ничего не увидел, ничего не понял, никого любовью не согрел, и, как нищим, голым пришел сюда, так нищим, голым, неразумным уходит. Отлетит от него дух, и в ту же минуту в небесах вновь появится он, лохматый, непросветленный, окаяннее окаянного.

– Так что же мне делать? – в отчаянии крикнул Савельев.

И тут, как бы в ответ, раздался голос, но такой, какой, может быть, только в раю можно услышать.

– Петух, петух, – обрадовался Савельев. И понял.

«Мой петух, мой, – ликовал он, – мое солнце, мой мир видимый и невидимый».

И крадущимися шагами разбойника, сорвавшегося с креста, с драгоценнейшими вещами в самой далекой комнате своего сердца – солнцем и петухом, – Савельев, кому-то хитро подмигивая, вышел на улицу.

Но идя, твердо знал, что он вор и Бога обманул.

И все подмигивал. Подмигивал. Гримасничал, Кому-то. Нездешнему.

* * *

В напряженнейшем ожидании, с зелеными и желтыми мыслями в голове, едва прислушиваясь к себе, и однако ощущающая каждую точку своего цветного сознания, Савельев, появившись, тотчас остро, как иголка, воткнулся в улицу.

Зеленая пыль.

Серебристые, раскачивающиеся листочки.

И, воткнувшись, скользнул дальше, нанизывая на воздушную нить переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки, пивнушки и все, что попадалось на пути.

Утро, сбросив с нежных плеч своих синий кафтан и облачившись в тяжелую золотую порфиру, сладчайшими пальцами манит людей на улицу. Савельев насторожился и открыл один глаз. И вот выбежали с глазками жаб хвостатые, хвостатые, бородатые, чтобы начать свою весело-страшную жизнь краткого, очень краткого дня. Савельев будто с шестого этажа посмотрел на них и рукой остановил свои от смеха прыгавшие щеки.

«А я сам тридцать лет не видел петуха и даже забыл, какое у него лицо», – погрозил он себе, и вдруг смятенно оглянулся.

«Ибо. Да, так. Протяжность. Штрихи», – зелено носилось

в мозгу.

Он стоял у дверей харчевни, где вчера ему было отказано в кредите. Но не удивился этому.

«Жрать хочешь, Савельев, – промелькнула черная, переходящая в коричневую, мысль, – но жрать тебе не дадут. А впрочем, зайдем».

И заскучав, он разорвал ниточку, и вся его работа пропала.

Переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки и пивнушки – все повалилось в одну кучу. Савельев с презрением оттолкнул ногой эту дрянь и, чувствуя, как превращается в бессильного, старого волка, но до ясновидения просветленный, с петухом и солнцем в самой далекой комнате своего сердца, подобострастно виляя хвостом, забрался в харчевню.

И тотчас, как только он показался, харчевня зашептала многими голосами:

– Савельев, Савельев!

Савельев, почуяв жалость, хотел было залезть под диванчик, но выдержал характер и как ни в чем не бывало прыгнул на стул, подобрал под себя лапы и предался мукам голода.

Харчевня шумела, как проснувшийся лес. За столиками, приняв облик людей, – так подсказывает Савельеву завладевшее им смятенное существо, – сидят, на передние лапы опершись, военные и знатные бессильности, финансовое и торговое стадо, командиры и командирши, прелестные белки и белочки, готовый каждому на колени прыгнуть, теплые

медведи с отвисшими животами и с траурной грязью на мутно-желтых когтях, высохшие лисицы и некогда пышные кохинхинки и сухие, остромордые с рубиново-злыми глазами волки и старый, старый, бывший страшный тигр. Сидят. Сидят. Рычат. Ждут.

«Вот они, вот они, – шепчет до смерти испуганное, смятенное существо, – а какая сила была, Боже мой, какая сила! А теперь! Взять бы, да сжечь все это, или перебить!»

Гримасы.

Гримасы.

Гримасы!

И вдруг видит Савельев, что все уже совершилось. Голова к голове, лапа к лапе, тело к телу тесно прилипает, стол к столу, спина к спине, нос к носу, и все вместе уже одно серое, сухое, без травинки поле, по которому с гиком пронеслись бы китайцы, татары, казаки, баба-яга с помелом.

Да, да, вновь от восторга рыдая, танцует курносая кровать и в жесть зеркала, чтобы не видеть, не слышать, не сознавать и не болеть стыдом, уходит Савельев. Улетает куда-то, в тишину, в паузу. Но не уйти от поганенького номерка, который есть весь мир. И вновь, мышью бегая, мимоходом видит, как кланяется ему с вешалки котелок и насмешливо приветствует:

– Мое почтение, господин А плюс В, изволите хотеть жрать? Для ваших степенств не осталось в мире ни белковых, ни жиров! Осталась вам, – и тут громогласно, как на

последнем суде, прозвучало, – одна смерть!

«Уйду в зеркало, опять уйду, – погрозился Савельев. – А сын с товаром пропал в Костроме! О, Господи, почему в Костроме?» – плачет душа.

И вторично умер петух в сердце Савельева, и солнце его вылетело из глаз, как светоносное облако.

* * *

Появилось какое-то фантастическое существо, похожее на кенгуру, присело на задние ноги и на твердый хвост и стало вызывать желающих на работу. Выстроились в ряды по двадцать. Столы и стулья, брошенные, завизжали.

«Пойду и я, – подумал Савельев, – не привык к труду и унижению, зато запасусь жирами, белковыми. Потерял солнце, петуха, но остался мне мир видимый и невидимый».

Стал с другими в ряду. Дали ему лопату. Пошли. Идут. Идут. Стучат. Идут.

Савельев притаился, залез в самый нижний этаж своей души и оттуда взглянул на мир видимый. И задрожал. Хаос, бессвязность, чепуха. Картонные бессильности незримо плачут, и он с ними! И он с ними! Купец Савельев с лопатой за плечами. За жирами! За белковыми! Сиятельнейший медведь с лопатой за плечами. За жирами! За белковыми! Командиры и кохинхинки, и остромордые волки, и белки, и лисицы по двадцать, по двадцать в ряду! За жирами! За белко-

вами! Идут, идут, а за ними грохоча, в вихре, в кружении, поднимая вековую пыль, двинулись дома и домишки, города и городишки, и вся живая рать с дворцами, тюрьмами, с золотом и сором, и перемешались, слились и спаялись в одно большущее, громадное, безмерное, как рыба кит, с хвостом в один конец земли, с головой в другой конец, с хоботом в небо, с медным рогом между глаз, и легло на четыре подставы. Легло, лежит, бьет рогом небо и орет на весь мир:

– Жиров! Белковых!

Лежит сто лет, тысячу лет, десять тысяч лет и все ни с места. Уже все леса съел, весь уголь, железо, уже всю землю обессилил, все соки выбрал, а все бесплодный, не могущий ничего родить, все шире раздвигая пасть, сердито рычит и рычит:

– Жиров! Белков!

«Только и всего, – удивленный и тоскуя спросил Савельев. – А где же страдание? Где моя печаль и любовь? Где сладкий запах сигарного дыма?»

Стыдливо молчит мысль, и Савельев, ощущая смертельный холод Всех Утешительницы, стал смотреть на мир невидимый. Вклинился в небо и понесся быстрее света, все выше и выше, подальше от Млечного пути, в сторону от всякой звезды и, нагнав первозданный хаос и став у начала бытия, объятый ужасом остановился. Похолодела мысль, и закатилось сознание, и разлилась нестерпимая белизна-чернота до тошноты в костях.

Безмерно!

Безмерно!

Безмерно!

Ледяное! Ничтовское! Чернота! Белота! А еще дальше, еще глубже, еще выше, дивное, о, родное, о, грустное видение, – беленький, в ватной кофточке, с венчиком на голове, сам Господь Бог со своим светиком и ангельчиками, такие одинокие в безмерности ничтовского.

– О, – застонало в Савельеве, и сам он простер руки, – и это ты, мой Господь. И это все? – снова спросил он, пронизывая взглядом тихо игравший светик.

Густо засинело. Метнулось. Серебристая посыпалась пыль. Туда, назад. Туда, назад.

Савельев раскрыл глаза. И вдруг стал уходить.

– Я сейчас, сейчас, – говорил он торопливо кому-то, и все продолжал уходить и лепетать: – я сейчас, сейчас.

Умирало сознание. Мысль свой бег замедляла. Туда, назад. Туда, назад. Зашипело: Жена. Кострома. Москва. Чепуха.

Опять на каком-то дворе, в уголке стоит Савельев. Красно-кумачовое солнце греет его лысину. Поднял руки, просунул деловито голову в петлю, осмотрелся и, как для пляса, скрючил ноги. И повис, и злобно и медленно высунул язык проклятому ослиному миру. Время, обнюхав его, почувствовало конец, смердящее, и ушло. И тотчас родилось другое время, и двинулось от Савельева в вечность.